

ЕКАТЕРИНА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ДЕВОЧКА С ПАТРИАРШИХ



Биографическая проза Екатерины Рождественской

Екатерина Рождественская
Девочка с Патриарших

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рожественская Е. Р.

Девочка с Патриарших / Е. Р. Рожественская — «Эксмо»,
2018 — (Биографическая проза Екатерины Рожественской)

ISBN 978-5-04-093082-1

Настоящая история из жизни маленькой девочки, которая давно выросла, но отчетливо помнит каждый тот день из детства, вернее, каждую ночь. А сама история про одиночество — и поделиться девочке страхом не с кем, и постоять за себя невозможно, и возраст проблемный. Полное отчаяние и одиночество — при живых родителях и полном дворе соседей.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-093082-1

© Рожественская Е. Р., 2018
© Эксмо, 2018

Екатерина Рождественская Девочка с Патриарших

Художественное оформление *Натальи Никоновой*

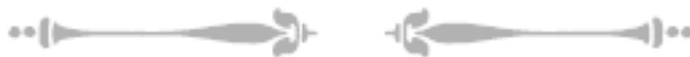
Иллюстрации на обложке и в макете книги *Юлии Моргуновской*



Фотография на обложке из личного архива автора

© Рождественская Е., 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018



Первый раз он появился у ее окна в самом конце лета.

Было душно: лето, август, марево. Нина сидела у себя в комнате на подоконнике, смотрела в окошко и, как обычно, ничего, кроме двора, не видела. Хотя если задрать голову совсем вверх, то можно увидеть кусочек неба и любимое место голубей на карнизе верхнего этажа. Нина стала их считать: раз, два, три, четыре... Там, в вышине на карнизе, сидели четыре голубя – ой, нет, один вдруг самоубийственно кинулся вниз, развернулся в воздухе и вылетел через арку на улицу.

Три. Их осталось только три.

Решетка, конечно, очень мешала привольной жизни. Но папа сказал: «Первый этаж, это необходимо, и все тут». Он решил зарешетить окна после того, как обворовали квартиру в соседнем доме. И тоже на первом этаже. Нина была тогда совсем еще маленькая, но помнила, как пришли рабочие в грязных промасленных штанах и с приклеенными папиросками в уголках рта и целый день приваривали, сверлили, воняли, бурили и курили. Нине все это не понравилось, совсем не понравилось. Раньше она могла в любое время вылезти из окна своей комнаты и оказаться сразу посреди двора, на качелях под липой. Мама разрешала: главное, чтоб со двора ни шагу. А сейчас что? Теперь надо было выходить из квартиры как все нормальные люди, спускаться вниз по лестнице черного хода и только тогда можно было выйти во двор. Муторно и неудобно. Хотя в первый раз, как только промасленные рабочие ушли, Нина сразу же попыталась пролезть сквозь решетку, и это у нее почти получилось. «Почти», потому что она тогда застряла и стала кричать на весь двор. Прибежали соседи, и маме пришлось вылить на нее пол-литра дефицитного подсолнечного масла, чтобы протолкнуть ее во двор, не поранив, скользкую и липкую.

В Нину потом надолго въелся этот запах давленных семечек, и она вспоминала с содроганием, как масло тепло и липко струилось по ногам, пока она шла обратно домой, оставляя, как улитка, скользкий жирный след и плача от противности и брезгливости. Мама ей тогда сказала: «Каждый раз, когда ты будешь пытаться пролезть через решетку, я стану поливать тебя маслом, ты поняла?» Нина поняла. А мама тогда рассердилась также и на папу и обругала его: какой смысл вообще ставить решетку, если в нее запросто может пролезть человек? Но Нину от масла она все-таки отстирала.

Постное масло Нина ненавидела. В нижнем ящике маминого рабочего стола в архитектурской кальке лежала маленькая хлопковая безрукавка, которую всегда использовали как компресс, когда Нина болела воспалением легких. Она была насквозь промасленная, эта распашонка, и противно пахнущая, поскольку отстирать ее от жира было совершенно невозможно. Впрочем, никто и не пытался – посильнее выжимали, сушили, и все. Как только Нина начинала кашлять, а в ее детстве это случалось довольно часто, мама торжественно доставала из ящика компрессную безрукавку, кальку и вату. Потом наливала в миску порядочно масла, утапливала в ней ткань и ставила на огонь. И всегда держала в масле палец, чтобы почувствовать, как оно доводится до нужной температуры чуть выше человеческой, чтобы хорошенько, а лучше раз и навсегда прогреть кашляющие легкие. Нину облачали в эту сальную распашонку («Сердце, сердце не закрывай», – обычно советовал папа), сверху закатывали калькой, потом обертывали ватой, как новогоднего снеговика, надевали узкую старую майку для удержания лечебных слоев

и весь этот кашляющий букет укладывали спать. Это был бабушкин рецепт. Она говорила, что в детстве так спасали от легочных воспалений ее маму, маму и бабушку. Но с Нининой точки зрения, этот компресс был не лечением, а пыткой и преступлением против детства. Нина зажмуривала глаза и старалась не прислушиваться к своим масляным ощущениям, иначе слезы начинали литься сами помимо ее воли. Вонючим прогорклым жиром пропитывалась каждый раз не только распашонка, но и руки, ноги, волосы, постель – все! Даже мысли и те оказывались какими-то вязкими и клейкими. Нина старалась замереть, не двигаясь, чтобы наконец заснуть и поскорее проснуться здоровой.

Однажды Нину положили в больницу, и врачи сказали, что после тяжелого воспаления легких может не дай бог случиться осложнение на сердце и что надо делать уколы и все время лежать, не вставая, потому что сердце у нее теперь какое-то время будет находиться в пяточках, а топтать его никак нельзя, иначе оно совсем испортится. Нина пролежала пластом почти месяц, а когда ее выпустили, совсем слабенькую, но поправившуюся, то даже после больницы она еще несколько месяцев старалась ходить по дому на цыпочках, боясь вообще наступать на пятки: вдруг сердечко раздавится?

Эта больница ей запомнилась надолго и стала источником первых детских ужасов. Однажды две молодые и одинаково рыжие практикантки попытались взять у Нинки кровь, но каждый раз, тихо шепча непонятные слова, не попадали в вену и в результате расковыряли обе руки. Потом они осмотрели своими хищными сорочьими глазами худые бледные ноги девочки, собираясь найти вену там, и строго предупредили Нинку, словно она была виновата, что если и на этот раз у них ничего не получится, то они будут брать кровь из вены на голове. Нина тогда закудаhtала, запричитала и закричала что было сил, пытаясь жутким плачем испугать этих хищниц, ее сердечко забилося быстро-быстро, но совсем не в пятках, как ей сказали, а там, где ему и было положено – в груди. И только прибежавшая на крик пожилая медсестра с грустным и усталым лицом, как у старенькой Снегурочки, успокоила Нинку какими-то простыми словами и легко с первого раза все сделала сама. А потом одобрила мамино средство лечения пневмоний – масляные компрессы.

Поэтому пневмонии Нинка не любила. Как только она закашливалась, то сразу начинала горько плакать, но не потому, что у нее что-то болело – просто она знала, что мама сейчас же пойдет к своему рабочему столу и достанет из ящика ненавистный сверток с жирной распашонкой. Ангины нравились Нинке намного больше. Когда она заболела горлом, а бабушка была под рукой, то расклад был совсем другой. Бабушка покупала на рынке большую горькую черную редьку и выдалбливала в ней ямку, словно собиралась сделать из нее чашку, потом заливала туда до половины мед и оставляла на сутки. Редька отдавала меду всю свою лечебную горькоту, мед становился почти жидким и невероятно вкусным, не таким сладким и чуть забродившим. А бабушка все говорила, что это древний рецепт, что испокон веков так от кашля лечились, таблеток-то раньше не было! И всем всегда помогало! Но целые сутки ожидания Нинка никогда не выдерживала – она просила дать ей настоя пораньше и зажмуривалась от счастья, когда бабушка несла к ее широко раскрытому птенцовому рту большую ложку с волшебной жижей. Одновременно с Нинкой всегда лечилась и сама бабушка, разведя медовую редьку водочкой. Она заливала в себя драгоценные капли, смачно крякала и обычно говорила что-то эдакое: «Не пить горького – не видеть и сладкого» или: «Тяжело болеть, а тяжелее того над болью сидеть».

Но бабушка к ним из деревни приезжала редко – это так, к слову.

Нина жила с папой и мамой на первом этаже старого-престарого шестизэтажного дома без лифта в маленькой квартирке с приличной по размеру кухней и двумя миниатюрными комнатками, заставленными до потолка полками с книгами. Их высокий дом отделял своим мощным дореволюционным телом двор от улицы, и пройти внутрь можно было только через арку, с которой давным-давно зачем-то сняли богатые кованые ворота, и теперь попасть во

двор мог каждый. Справа от арки стоял дом пониже да постарше фасадного, в три этажа, с довольно неуклюжей надстройкой на крыше – зачем ее сделали и кому она предназначалась, понять теперь было невозможно: то ли бывшая голубятня, то ли отслужившая свое мастерская затрапезного художника, то ли вообще чердак для всякого хлама. Подъездов в том доме было три, и вечно, даже зимой, их двери почему-то оставались открытыми настежь. Хотя были подъезды еще и с улицы, но те соседи в Нинкином дворе почти не появлялись.

Напротив трехэтажного дома с уродским курятником на самом верху торчал желтый двухэтажный, совсем дряхлый и облупившийся, но очень милый особнячок, весь в трещинах и морщинах. Подъезд там был один, а квартир всего четыре, по две на каждый этаж. Балкончики на втором этаже были чудо как хороши: широкие, с белыми балюстрадами и барельефами над каждой дверью. С барельефов смотрели вполне добродушные и скучающие львы, давно потерявшие свое царьзверское достоинство. А прямо напротив арки высился забор – просто забор, и все! За ним шла какая-то многоэтажная жизнь, колосились высоченные деревья, но жизнь эта уже считалась чужой, ею никто и вовсе не интересовался.

Посреди двора рядом с высокой раскидистой липой цветнела всеми красками детская площадка, совсем небольшая и серьезно потрепанная двумя послевоенными поколениями местных. Она была невероятно красочная. Изначально она была зеленой: после войны это была главная краска страны, и в зеленый красилось все, от подъездных стен до кладбищенских решеток. Видимо, зеленуху замесили тогда, в конце 40-х, в промышленных масштабах, чтоб оттенить серость разрухи и кое-как, хотя бы цветом, приблизиться к природе. Спустя пару лет зеленая краска с железных качелек местами сошла, и выступила опасная, режущая детские руки, ржа. Зеленую жирно подкрасили белой краской, которая осталась от ремонта у кого-то из запасливых и нежлобливых соседей. И эти зелено-белые качельки какое-то время приятно радовали глаз, пока снова не облупились. Бросили клич. На этот раз красную в майонезной баночке принес художник Серафим, главный дворовый матерщинник. Но краски этой веселой на все раны категорически не хватило, и кто-то привез желтую с дачи. Так детская площадка накапливала цвета, веселела год от года, приодеваясь в новое, радостное и необыкновенное. Хотя со временем чуть покосилась, но не вся, конечно. Песочница никуда и не думала коситься, просто с возрастом чуть ссохлась и сильнее припала к земле, почти сровнявшись с ней и похоронив в своих песочных слоях поколения совочков, формочек и лопаток. А кроме песочницы что там было-то? Невысокая горка и одинокие скрипучие качельки на толстых цепях, вот и вся детская площадка!

Нина больше всего уважала качели: нравился ей ритм монотонного покачивания, сначала слегка, совсем чуть-чуть, а потом как р-р-раз! – и она отталкивалась, взлетала все выше и выше, и ей уже становилось страшно, и душа зависала где-то под облаками, а там воздух и счастье!



Вот и теперь она ловко с них спрыгнула, отметив, что получилось дальше обычного, а качельки еще чуть поскрипывали, и даже пыль под ними пока стояла столбом. Рядом с площадкой для молодняка кренилась слегка поплывшая вбок беседка из зеленых реек, где днем сиживали дворовые тетки-бабушки, а вечером гуляли подростки или куролесили пьяницы. Этот караул имел свои четкие часы работы: тетушки заступали после обеда, грузно усаживались, потирая опухшие колени и начиная нескончаемые разговоры о своих почти прожитых и рас-

творяющихся жизнях, а как смеркалось, пост сдавался местным алкашам – обязательно местным, пришлые не допускались! Местных алкашей было мало – вернее, всего один, Мишка. К вечеру, как темнело, бабы уходили парами, а последняя пара во что бы то ни стало дожидалась сменщика, иначе как можно было без присмотра оставить двор? Сейчас-то август, всегда кто-то есть, а по холоду, бывало, к вечеру двор опустевал совсем. Дядя Миша, родной дворовый алкаш, крепко выпив, всегда хорошо пел, и его раскатистый бас выливался из горла, как вино из кувшина, без натуги и усилий. Причем каждую песню он объявлял, как и положено в концертах. Объявлял всегда одинаково: «Музыка народная! Слова народные! «Вечерний звон»! Исполняет Михаил Шамшурин!» И начиналось протяжное и внушительное бомканье на полчаса. Это произведение было его любимым. Иногда он затихал, и соседи уже шли к окошку, чтобы понять причину прекращения выступления, но он звонко икал и менял репертуар без должного объявления: «Я вчера была твоею, а сегодня Мишкина! Хер у Мишки как сосна на картине Шишкина!».

Пока он пел из-под липы – громогласно, по-молодецки, ища пьяненькими глазами хоть каких зрителей, жена его Лизавета даже и не показывалась. Как только петь переставал – все: значит, завалился где-нибудь. Он мог и в луже уснуть-утонуть, если дождь – было один раз такое, еле откачали. Мог по зиме в какой-нибудь сугроб свалиться замертво, и тогда надо было его по-срочному бежать спасать, чтоб, не дай бог, ничем не примерз. Соседи об этой его привычке падать в неподходящих местах знали и зимой всем двором поддерживали в живом состоянии, притаскивая сразу после пения на дом к жене. Так он и жил от сезона к сезону, пьяно, шумно и почти не приходя в сознание. Но до зимы в августе было далеко, чего о ней было думать-то?

Сегодня в тени беседки и в ожидании вечерней охранной смены остались две бабы – Бабрита и тетя Труда, могучие, упитанные и какие-то основополагающие, как марксизм-ленинизм.

Но время шло, а Миша со своими жизнеутверждающими песнями никак не объявлялся. В таких случаях его могли заменить в беседке на посту, например, соседские полудети, совсем еще щенки, которые уже бойко и нагло пробовали на вкус взрослую жизнь, отгородившись от родительских глаз неровными зелеными рейками беседки. В беседку эту мог зайти только свой молодняк, но выбор был, к сожалению, невелик: подростковая мелочь обитала только в первом или третьем подъезде, а во втором одно старье – молодняк не водился. Помнятся такие случаи, что пришлые, с улицы, и матом на весь двор орали, и драки устраивали, и бутылки били – в общем, куролесили, не стеснясь, не у себя ж дома! Да и выгнать их было вовремя невозможно. Пару раз милицию пришлось вызывать, чтобы разобраться с драчунами и отволочь их в вытрезвитель, а несколько лет назад вообще одного чудака пырнули ножом, и тот кровью своей залил весь песок в песочнице. Хорошо еще, что соседи примчались на крики, обнаружили его у качелек и вызвали «Скорую». Потом детскую площадку надо было ремонтировать, песок менять и осколки собирать – короче, себе дороже. Поэтому-то бабы и оставались нести ежедневный дозор.

В арке раздались шум и возня, и Нина попыталась увидеть, кто идет, открыв настежь окно и выставив пол-лица на улицу: всю личность просунуть сквозь решетку побоялась, чтобы снова не застрять.

«Чужаки, – подумала Нина, – точно, чужаки – наши так орать не станут». Тех, кто идет, она не видела (арка была на одной линии с ее окном), но стала с интересом наблюдать за реакцией баб. Они вытянули шеи, которые, казалось, были припрятаны до этого момента где-то в позвоночнике, вздыбились, взъерепенились, встали, упершись кулаками в свои мясистые бока, и начали наступление.

– Вы чьи, ребятки? – громко и задиристо спросила для начала Бабрита, крупная тетка с лицом простым, как хозяйственное мыло. Но ей всегда хотелось быть красивой: она красила губы и смачно рисовала брови. Брови часто получались разнокалиберными: то разъезжались к вискам, то почти сплывались в монобровь, мгновенно меняя внешне ее характер, настроение и даже национальность. У нее была тонкая душевная организация, слабое зрение и легкое косоглазие, поэтому во взгляде ее прослеживалось что-то гипнотическое. Иногда она вспыхивала еле сдерживаемым огнем, но сводила эти порывы не к излишкам эмоциональности, а к застарелым остаткам климактерических приливов. Сильно созрев и уйдя с работы на пенсию, она взяла под свое крыло весь двор, обходя его дозором, как тридцать три богатыря, утром и вечером.

Всю свою боевую жизнь она просидела на важном и очень ответственном посту – в бюро пропусков на киностудии Горького. Она засела туда совсем молодухой, когда студия еще называлась «Союздетфильм». Там у нее была каморка за стеклом на пару с другой пропускницей-цербершей, где они солидно и обстоятельно выписывали бумажки, позволяющие пройти на сказочную киношную территорию. Давно это было.

Теперь и Нина увидела ребят. Их было шестеро: четверо парней и две девахи старше Нины года на три-четыре. Они сразу перестали гоготать и собрались в кучку, чтобы достойно встретить пожилого противника, потом вдруг замялись и немного отступили. И хотя, с одной стороны, на чужих старух им было по большому счету наплевать, не маленькие уже, по четырнадцать, а с другой – почти у каждого в семье была такая же бабушка, ну или почти такая же, любимая, заботливая, хоть и строгая, но всегда провожающая в школу горячим завтраком. Может, почти такая же, как эта, к которой все-таки чувствовалось какое-то усредненное уважение, заложенное на генетическом уровне.

– Так чьи, спрашиваю? – Бабрита была непреклонна и всей своей грозной позой показывала, кто здесь хозяин.

– Да мы свои, мы с Мамоновского, – попытался пробиться сквозь охрану самый крупный, прыщавый и пронырливый, лет пятнадцати, видимо, по возрасту и росту вожак остальных. – Нам просто посидеть, а то родители с работы еще не пришли, деваться некуда, – попытался он начать переговоры мирным путем, продолжая нарезать резьбу в носу.

– Сыночка, ты руку-то из лица вынь, когда с женщиной разговариваешь, – приказным тоном произнесла тогда тетя Труда, Гертруда Николаевна, большая и суровая баба ложного интеллигентного вида, не лишенная сдобности и остатков женской привлекательности. – Сыночка, паразит, ты чего сюда без спросу свою шоблу-еблу привел? Чего молчишь? – Она мастерски выдерживала долгую театральную паузу, готовясь к решающему броску, и ее потрепанное и полустертое лицо, напоминающее изъятую из обращения монету, не выдавало никаких эмоций.

– Ты мне просто ответь на один вопрос, – она вдруг заговорщицки подмигнула подруге и снова вперилась взглядом в подростка:

– Ты ходить-то уже умеешь?

Парень удивленно заморгал и серьезно ответил:

– Ну да...

– Так и ходи отсюда на хер! – Труда даже покраснела, но не от стыда, конечно, а от удовольствия, что так подшутила над щенком. – Тут тебе дом родной? Ты мне хоть одного твоего знакомого в нашем дворе покажи, сучий ты потрох! Брыскайте отсюда, мелюзга, чтоб духу вашего здесь не было!



И Труда, одернув свой старый халат, надетый в этот раз наизнанку, бесстрашно пошла на огрызающихся шакальчиков, точно зная, как с ними управляться. Еще бы, она работала когда-то на звероферме и очень хорошо понимала правила иерархии: если не ты их, так они тебя. Сыночка съязвил что-то негромкое своим друбанам, те заржали в голос, развернулись и пошли к арке искать уют в другом месте. Враг был отбит.

На всякий случай Труда бросила им на посошок, чтоб наверняка:

– И шоб вам усем повылазило, паразиты!

А Бабрита добивала окончательно и бесповоротно:

– Кес-ке-се, – спросила она по-французски, моментально переводя на русский: – А что за нахер?

Подростки от такого напора мгновенно превратились в послушных детей, молча и понуро направились к арке, а бабы-защитницы победно переглянувшись, снова засели в покосившийся блиндаж.

Нинка все сидела на подоконнике, подложив для мягкости под попу подушку, и лениво рассматривала мир. Окно было вечно грязным, как его ни мой, – первый этаж, все брызги и вся грязь облепляли стекла, и картинка была как в тумане. Нине это не нравилось, но сделать она особо ничего не могла. Подоконники были широченные и прохладные, и под каждым в каждой комнате холодильник, шкафчик, куда можно было класть запасы, всякие там банки с огурцами, консервы и соленья. Внешняя уличная стенка была тонкой, и в шкафу этом всегда сохранялась прохлада, как раз такая, какая нужна была для сохранения продуктов. Мама объяснила, что раньше, до революции, холодильников не было, вот и делали холодильники в каждом доме. Все шкафчики в квартире и вправду были заполнены запасами – время было советское, дефицитное.

Но у Нины под подоконником стояли банки с сушеными грибами. У них вообще была семья грибоедов, их ели и так, и смяк, и в супах, и в жаренье, и голыми, и с картошкой-луком, и в икру проворачивали, и в пирогах поглощали. А самым интересным была, конечно, охота на них. Нинка с папой, мамой и бабушкой вставали рано-рано, часов в шесть, быстро завтракали, одевались как на настоящую охоту – резиновые сапоги, даже если дождем и не пахло, куртки, штаны, голову прикрывали – и в путь. Еще бабушка давала каждому в руки по ножу и предупреждала: «Убью, если кто нож потеряет!» Они у нее все любимые были – хорошо заточенные, с ручкой по руке. Шли молча до какого-то полянного места с молодым березнячком и невысокой травкой, открытого солнцу и дождю.

– Ищите тут! – командовала бабушка. – И кланяйтесь, прямо-то не ходите, прячутся они от нас!

Все разбредались по кустам и вскоре сходились с полными ведрами чистых пахучих крепких беленьких.

Дома шел разбор: что на жареху, а что на сушку. Бабушка брала чистую кисть с щетиной, очищала каждый боровичок от песка и хвои и откладывала в отдельную корзину. Те, что предназначались для сушки, мыть было никак нельзя. Потом она резала каждый грибок вдоль, нанизывала на толстую нитку и всю эту грибную гирлянду подвешивала в комнате под потолком, прямо у печки. Так грибы и висели почти все лето, хотя для того, чтобы высушить беленькие, вполне хватало двух недель. Но Нина просила бабушку их не снимать, пока она не уедет: ей нравилось жить в сказочной лесной избушке среди подвешенных пучков трав, грибов, залетных бабочек, засушенных и давно забытых букетиков полевых цветов, стоящих то там, то здесь по всему домику в маленьких майонезных баночках.

А дома Нина тащила грибы к себе под окно, засыпала в банку до верха, крепко-накрепко закрывала крышкой, но они все равно ухитрялись всю зиму и весну напоминать и о себе, и о бабушкиной избушке – запах каким-то невозможным образом проникал даже через закрученную крышку и всегда, даже зимой, в комнате стоял тонкий и сначала не совсем различимый аромат чего-то лесного и знакомого. Нинины подружки водили носом и не могли сосредоточиться. И всякий раз обязательно спрашивали – а чем пахнет-то? А пахло действительно лесом, полянкой, разогретой июльским солнцем, земляничкой, уже красной, но так обидно растоптанной, прелой землей и белыми: вон-вон они! под молодой сосенкой! А когда маме надобилась парочка грибов для супа из заветной банки, Нина доставала их сама. Всегда отби-

рала так, чтобы и шляпка была, и ножка, чтобы все по-честному. Выкладывала из них сначала какую-то мозаику на столе, потом отбирала, какие пойдут в кастрюлю на этот раз, и гордо, потому что сама нашла их в лесу, несла маме на кухню.

Нина жила в дальней комнате в углу дома – слева от арки, в самом тупике. Нинино окно выходило прямо на крышу чужой котельной, в которую можно было войти только с соседнего двора, но крыша, поднимающаяся от земли почти на метр, была целиком в Нинином владении. Пятачок перед ее окном был влажный, заросший мхом и плесенью. Солнце сюда никогда не заглядывало: как оно могло сюда достать? Никак! Зато из кирпичной кладки прямо в ее окошко рос какой-то высокий, мощный и очень многолетний, практически вечный сорняк. Он колосился и матерел из лета в лето, а зимой ненадолго застывал в недоумении, не сбрасывая листы. Нине он был по душе. Его мощные корни впивались в цемент между кирпичами, залезали в щель между кладкой и асфальтом и со временем целиком ушли под дом. Видимо, в той сырой темноте им больше нравилось жить. Солнца ему в тупике, конечно, не хватало, он и приспособился к теневой жизни, начав что есть силы расти и тянуться ввысь.

Подоконник был любимым Нининым местом. Здесь она делала уроки, читала, мечтала, играла. Тут рядами стояли старые и любимые, совсем из детства, игрушки, с которыми Нина никак не могла расстаться, хотя понимала, что давно пора – она уже не маленькая. Ну как можно было выбросить дряхленького Буратинку с дурацкой улыбкой, смеющимися глазками и бровками домиком? А любимого резинового серого ежика с нарисованными неколючими иголками? Раньше он пищал, но теперь пищалка выпала... А неужели рука поднимется выкинуть пусть и не совсем целую, с утратами, кремлевскую башню со звездой? Она совсем для маленьких, конечно, но Нина помнила, как собирала и разбирала эту красоту, нанизывая ее детали на огромный закругленный штырь. Ее купил папа, когда они ходили в «Детский мир». Как можно с этим расстаться? А вот эти миленькие, полувыцветшие, но такие любимые расстрепанные куколки и старенький тряпочный клоун с красным носом? А страшная кукла, которую она любила из жалости? «Нет, они вечно будут сидеть со мной на подоконнике, – думала Нина, – так веселей – все-таки не совсем одна».

Нина снова высунулась посчитать голубей. Пусто. Видимо, они спрятались под навес или сидят у Лели на балконе, она всегда оставляет им крошки. На качелях тоже никого. И соседей нет, только белье чуть раскачивалось на веревке – маленькие шапочки, крохотные распашоночки, пеленочки – весь набор для нового человечка. У тети Майи родился сыночек. Нина видела его крохотное сморщенное и совершенно некрасивое личико, совсем не игрушечное и крикливое. Новый сосед. Нина подошла на него посмотреть, когда тетя Майя выносила его во двор. Егоркой, кажется, назвали.

Нина все сидела и сидела так у окна, мусоля книжку и вспоминая, как здорово она проводила время у бабушки в деревне, откуда на днях приехала, сколько грибов сама засушила и ягод съела. Обхватив руками колени, она подставляла лицо приятному теплему ветерку, который собирал во дворе пыль и с удовольствием обдувал ею девочкино лицо. Пора уже было собираться в школу – до начала занятий оставалось всего несколько дней. Нина вспомнила о белых огромных бантах, которые мама по ее просьбе заранее красиво и пышно завязала, чтобы не торопиться утром перед первым школьным днем. Взяла их с книжной полки и аккуратно пристроила на голове, просто приложив. И хотя она уже не маленькая, но банты были такими красивыми и пышными, что сознательно отказаться от них было невозможно. Один бант все время скатывался на пол, как колобок, но Нина снова и снова поднимала его и настойчиво вшивала в косы-«баранки», которые мама заплетала ей каждое утро. Наконец она снова села на подоконник, уже самая красивая на свете, с огромными бантами-одуванчиками, взяла книжку и уютно устроилась, посадив рядом старика Буратинку.

Родители у Нины были молодыми архитекторами, и Нина всегда хвасталась ими во дворе. «Их зовут Варя и Володя, они придумывают дома и квартиры, – с придыханием говорила она ребятам, – чтоб удобно было жить. Это их работа, не каждый так умеет. Сначала клеят домики из бумаги, показывают начальникам, но чудеснее всего, когда эти уже ненужные домики они отдают мне поиграть. Насовсем. И знайте, домики, склеенные из бумаги, называются «макет», – учила она детей. В эти бумажные макеты она играла все детство. И хотя эти белые макеты были совершенно не похожи на те, где обычно живут принцессы, но все равно играть в них было очень интересно, особенно когда рядом с игрушечными домиками росли зеленые деревья из клееных ниток, а по бумажному тротуару парами гуляли бумажные люди. Нина представляла, кто где живет из этих ненастоящих человечков, и давала им имена.

По вечерам родители очень часто уходили в гости: друзей у них было предостаточно, и их уходы стали делом совсем обычным.

– Ты уже большая девочка, – сказала мама в первый раз, когда соседка не смогла остаться с Ниной, а родителям очень-очень надо было пойти на чей-то день рождения. Ну очень-очень! – Мы с папой скоро вернемся. Котлеты на сковородке, ты знаешь. Хлеб я тебе нарезала. Чай налила. Если захочешь спать, почисти зубы и ложись, хорошо? Не жди нас.

Нине тогда понравилось, что к ней наконец стали относиться по-взрослому: она давно уже мечтала вырасти, но все никак не получалось, а тут раз – и почти большая. Сначала она, конечно, немного испугалась, что останется в квартире совсем одна, но не подала виду. И на всякий случай крепко-накрепко обняла маму с папой перед их уходом: вдруг они больше никогда не увидятся? И очень постаралась не заплакать, потому что взрослые дети плачут редко, если уж только совсем припрет. Она закрыла дверь на оба замка, еще раз на всякий случай подергала дверь и включила свет во всех комнатах. Походила по пустой гулкой квартире, прислушалась. Все звуки были знакомыми и успокаивающими. На кухне громко тикали старенькие часы в металлическом корпусе и капала по капле вода из крана. Папа все обещал починить кран, но то ли у него не получилось, то ли на это, как обычно, не хватало времени. В ванной гудела газовая горелка, которая каждый раз вспыхивала со страшным хлопком, когда включалась горячая вода. В комнатах тоже было тихо. Ничего страшного. Все родное и привычное. И со временем она совершенно перестала бояться оставаться дома за хозяйку, когда уходили родители. «Главное, не жги спички и никому не открывай дверь», – предупреждала мама.

Варя, Нинкина мама, была невозможная красавица с горючей смесью из многих кровей, которые тонко оттенялись одной, алтайской. В прабабушку ее, настоящую алтайскую принцессу из самой Каракольской долины, места священного и почитаемого, влюбился доктор, который вдруг решил уехать от обширной московской практики, чтобы изучать народные лечебные возможности. То ли ему кто посоветовал, то ли он сам пришел к такому необычному решению, но он приехал с рюкзаком за тридевять земель, оглянулся вокруг и замер от красоты: пышные кедры стоят, расшаряпились, под ними ярко-оранжевые жарки, огоньки их еще называют, прямо полями, полями, вдали чуть голубеют горы, покрытые где сплошь лесом, а где полностью лысые. И облака, белые и кудрявые, залегающие на вершинах в ожидании, пока их не сдует ветер, самим-то шевелиться лень. А по горам пасутся на вольной траве тонконогие и гривастые кони, и коршун в вышине завис над головой, высматривая полевку или суслика, да полная тишина-покой. И он не совсем поверил попервоначалу, что вся эта роскошь возможна на самом деле, долго так простоял и почувствовал, что начал растворяться, и уже непонятно, где заканчивается сам, а где начинается природа...

Постоял так еще, повдыхал целебного воздуха и пошел по наводке в аил, куда велели. Там знахарка с внучкой двенадцатилетней жила – алтайка не древняя, но мудрая, знающая, немногословная и обветренная всеми ветрами. Секреты выдавала с трудом, но, видимо, была слишком обязана рекомендовавшему, поэтому приняла столичного доктора без строптивости.

Жил он целый год гостем в аиле на мужской половине, любовался на первозданную и какую-то диковатую красоту девочки, которая позвякивала колокольцами в косах для отгона злых духов. А как девочке исполнилось тринадцать, хозяйка сама предложила выкрасть ее и с собой забрать, чтобы жизнь была полегче.

Вот такая легенда, а как оно было на самом деле, никто и не помнил. Но кровушка алтайская эта, природная, целебная и могучая, влилась тогда в семейную историю и приукрасила все потомство. Со временем, с поколениями, драгоценная эта жидкость разбавилась, но не утратила пикантности. Вот и в Варваре было что-то такое, что заставляло мужчин поворачивать голову ей во след, смотреть с восхищением, и не просто смотреть, а вглядываться, а потом ловить себя на мысли: а что это было-то?

Да и Нинке с лихвой перепало красоты, нераспустившейся пока, бутонной и очень обещающей. Они с мамой и папой жили в абсолютном счастье! Нина чувствовала это счастье, оно слегка покалывало виски и щекотало ноздри. Папа не мог пройти мимо мамы просто так, не коснувшись ее, не чмокнув в шею, не шепнув на ушко что-то особенное, Нинке еще непонятное. А еще они очень любили стоять, обнявшись, все троим. Папа брал Нину на руки, подходил к маме и обнимал ее. Нина зависала на родных шеях, попискивая от удовольствия, а родители в эти мгновения откровенно и пронзительно смотрели друг другу в глаза, словно передавали друг другу какую-то очень важную, жизненно необходимую информацию.



А потом счастье куда-то улетучилось. У Нинки перестало щипать в носу и покалывать виски. Она не понимала, что происходит, просто не чувствовала того необъяснимого, что было раньше. Перестали молча стоять втроем, чуть покачиваясь, словно стараясь друг друга убаюкать. Когда папа приходил вечером с работы, то только Нина бежала к нему навстречу, а мама продолжала греметь кастрюлями на кухне или читать, отвернувшись к окну. И к тому же по вечерам мама с папой перестали вместе ходить в гости. Нина сначала этому даже очень

обрадовалась: то мама, то папа все чаще и чаще оставались с ней. Она что-то такое чувствовала, но не понимала, как это ощущение себе объяснить: стало меньше радости, что ли? Мама перестала так весело и задиристо смеяться, папа больше не называл маму ласково Варюхой и перестал пристально и как-то по-особому на нее смотреть – он просто прекратил на нее смотреть вообще и все время отводил глаза. Внутри семьи происходило что-то необычное, хотя все вроде было почти как всегда: сначала мама будила Нину, собирала ее в школу и шла на работу, потом уходил папа, потом Нина одна возвращалась домой, разогревала обед, делала уроки и ждала родителей. Все как обычно, но детская кровь уже чуяла то, что никак не решались сказать родители.

Однажды вечером грустный папа зашел к ней в комнату, присел на краешек кровати и вместо того, чтобы в который раз почитать любимого «Маленького принца», сказал каким-то не своим голосом:

– Нинок, ты знаешь, как я тебя люблю. Ты уже большая, тебе целых девять лет, и я хочу, чтобы ты постаралась меня понять. Мне надо от вас уехать. Я мог бы придумать тебе разные сказочные истории, но скажу прямо, как взрослой. Твоя мама полюбила другого человека. Так случилось, и в этом никто не виноват, ни мама, ни я, и тем более ни ты. Я уйду жить в другое место, но я всегда-всегда рядом с тобой, ты должна это знать. Мама выйдет замуж за другого человека, но мы все равно с тобой будем часто видеться.

И все. А утром он поцеловал ее, взял свой маленький клетчатый чемодан, с которым обычно ездил в командировки, и ушел. С тех пор вот уже целых два года жил где-то параллельно.

Нина все еще сидела на своем насиженном месте и скучала, глядя в вечер. Мама еще не вернулась, а отчим красил в ванной волосы басмой и пел арию Ленского из оперы «Евгений Онегин». Нина арию не любила, не любила она и отчима.

Он завелся в их квартире год назад – ну, может, чуть больше. Переехал почти сразу после папиного ухода. Заявился уже с чемоданами, коробками, пачками книг, перевязанных бечевками, и даже лыжами, хотя стояло лето. К лыжам были прикреплены еще ботинки и палки, которые оказались довольно небрежно связаны в один букет, и когда мама попыталась прислонить лыжи к стене, тщательно выверяя центр тяжести, эта неуклюжая конструкция все равно рухнула на пол со звоном и грохотом поперек комнаты, как только мама отошла.

Нину эти лыжи ужасно тогда расстроили. Нет, даже разозлили! Не потому, что они вдруг заняли всю комнату, и не потому, что упали, – Нина испугалась другого: неужели этот чужой дядька собирается остаться до зимы? «Он тут будет еще и на лыжах расхаживать? И будет жить в нашей же квартире?? А если все-таки вернется папа, как тогда? Он увидит этого нового, и что? Как они уживутся?»

Нина злилась еще и на маму. Та как-то очень вскользь ей сообщила о том, что дядя Игорь переезжает к ним в квартиру – так, между прочим, провожая Нину в школу.

– Тебе он понравится. Он заботливый, добрый и очень умный. Ты можешь даже называть его папой, если захочешь. А еще у него есть сын, он старше тебя, но я уверена, что вы подружитесь.

И все. А вечером этот добрый и заботливый ввалился в квартиру со своими лыжами. У Нины даже времени не было привыкнуть к мысли об этом чужом дядьке, который так нагло вперся в ее пространство.

– Меня зовут Игорь Сергеевич, деточка. Мы с тобой поладим, – сказал он, противно потрепав ее по щеке холодной липкой рукой, а мама виновато улыбнулась.

Но самое ужасное в этом чужом никудышном дядьке было то, что он стал называть маму незнакомым именем «Чаровница».

Новость о разводе Вари с Вовой во дворе обсасывали долго. Бабы гудели: как можно было променять молодого, умного и обаятельного архитектора, Нинкиного отца, на полную ему противоположность – стареющего и лысеющего архитектурного начальника? Ни уха ни рыла, никакущий мужик по сравнению с Володькой, и чем он Варьку взял, непонятно. Может, бледностью своей, предложила Труда. Ведь бледность – признак аристократизма. Володька-то из тех, что попроще да поконкретней, а тут целый бледный аристократ, захихикала Труда. Ага, или просто бледный и больной, вставила свое Лелька, все аристократы вымерли давно, а кто не сам вымер, тех повырезали! На Лельку тогда шикнули: не дело это так говорить, резали, кого надо было резать, и дальнейшие обсуждения сразу пресекли, не переводя частные дела в широкомасштабные. В общем, думали-гадали и решили, что своим начальственным валяжным видом взял, деньгами или властью. Власть-то штука привлекательная. Хотя старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет, говорили бабы. И если немного подождать, должно же в конце концов прийти понимание. Они все ожидали и ожидали, но понимание никак не приходило, хотя для них это было очень важно: а как же, это ведь объяснило бы Варькин поступок.

Бабрита решила, что это была страсть – обыкновенная бабская страсть, ничего больше. Супружеская жизнь, видимо, застоялась, наскучила, захотелось зигзага, вот Варька и свернула первая. Лучше безобразие, чем однообразие, хотя, конечно, к Варюхе это не относится, не такая она – так, просто присказка для красного словца, сказала Бабрита.

И бабы действительно млели от ритуального, даже какого-то сакрального процесса обсуждения всех этих мочеполовых проблем, от многочасовых посиделок под старой липой, хотя и прекрасно осознавали мнимую значимость подобных разговоров. Но сам процесс! Какой это был приятный процесс – разобраться в чужой личной жизни, поворошить белье, понадавать пустых советов и вообще посетовать на горькую бабью жизнь в принципе.

– Девчонке-то какой под дых, – качала маленькой головой Лелька-карлица. – Варька-то ладно, сейчас в неге, чего с нее взять, другим местом думает. А дите как? Что у нее в мозгах сейчас происходит? У Варьки-то голова пока не включается, а как первый шорох пройдет, она все сразу и усечет, а уж поздно будет, дочуре жизнь искалечат. Как можно было от такого Вовки девку забрать и этого старого пердуна в дом ввести? Ох, у меня прям сердце царапает, как вижу со своего балкона эту девочку на подоконнике. Сидит, худющая, три кило костей да ложка крови... Смотрит часами в одну точку, уставится и глядит незнамо куда...

– Ну да, и ты еще тут со своим неимоверным любовным опытом все по полочкам разложила. Ох, и помогало же тебя по чужим кроватям, можно подумать! А у тебя, что ль, не старый пердун был, клоун-то твой? Первый и единственный! Разве ж ты соображала, когда под рыжего лезла? Извини, конечно, что я со всей прямоотой, но из песни слов не выкинешь! Это ж природа! А ты баба! Хоть и мелкоскопическая.

– А может быть, тело и дворняги, зато сердце чистейшей породы, – Бабрита всегда вступалась за Лельку.

– А то мы не знаем! Нашла от кого Лельку защищать! Ты что, обиделась? – спросила она Лельку.

– Нет.

– Сильно?

– Да.

– Здастье-приехали! Да я любого за тебя прибью! Прекращай немедленно! Я что хочу сказать, – Труда на секунду замялась, пытаясь подобрать правильные слова и в который раз всем все растолковать. – Я не про то, что покаяться никогда не поздно! А вот согрешить можно и опоздать! Вот я, например, опоздала, и каяться не в чем! А я бы с удовольствием! Этому недодала, этому недодала, а тому и вообще не дала! Так и осталась в гордом одиночестве! А

жить нужно так... – Труда прищурилась, словно увидела где-то вдалеке, как именно нужно жить, – чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить! Сейчас-то тебе, Лелька, легко говорить, надо – не надо, а коли страсть припрет, то думает все то, что ниже головы! А сама так бы и жила, если одной головой думала, то до сих пор не было бы ни котенка, ни ребенка, сплошной цирк зажигает огни! Да что тут говорить, беда с Нинкой, просто беда.

Тетя Труда одернула свой боевой халат по старой привычке, как это обычно делали школьницы перед физруком, перестала моросить руками и продолжала свои философские рассуждения:

– Хотя и Варьку по-женски можно понять. Баба-то вечно свой случай ищет, а тут вон какая возможность – начальник! Это уже, скажу я вам, совсем другие каблуки! Может, денежные проблемы у них с Вовкой начались, вон уже который год Нинку летом к бабушке отправляют, сколько на море-то вместе не ездили... Как говорила одна моя знакомая, мужчина без денег – это подруга.

– Да никогда Варюха деньгами не болела, – махнула рукой Лелька. – Ни-ког-да! Не может это быть причиной, чтоб дочку отца лишать!

– Много ты понимаешь! Могло – не могло! – вздохнула Труда. – Она даже и не сопротивлялась, мне кажется. Где твой хваленый еврейский ум? Подвернулся денежный, она и решилась. А может, и из-за дочки как раз. Кто знает...

– Ага, сопротивляется-сопротивляется, а потом раз – и на матрас...

До Вариного раскрытого окна часто доносились эти дурацкие поговорки и бабьи разговоры, выданные в приступе дурной правды. Она тихонько краснела, сидя на кухне, встряхивала головой и отворачивалась, отправляясь к своему солидному Игорьсереичу.

Вскоре бабьи страсти во дворе утихли. Нинкин отчим перестал быть новостью и прижился вместе со своими лыжами. Он был тих, почти незаметен, с вязким в гнусавинку голосом, голым безбровым лицом с достаточно выразительными, но вечно полуприкрытыми глазами. Когда он с кем-нибудь разговаривал, то глаза и вовсе держал закрытыми, что было достаточно неожиданно и малопривлекательно. Приходя домой, он надевал домашнюю майку, полосатые пижамные штаны на подтяжках и садился работать. Иногда чертил что-то важное, иногда писал, но чаще просто читал, сильно слюнявя палец и громко перелистывая страницы. Его как бы не было. Обращался со всеми слишком вежливо, но Нину вниманием почти не одаривал, а сын к нему и вовсе не приходил. С мамой, бывало, он о чем-то ворковал, но и то только по вечерам, когда Нина ложилась спать.

Оказалось, что в общем-то он не слишком сильно мешал их давно устоявшейся жизни. Только ванную занимал надолго и смешно там фыркал. И еще пел. Репертуар его был невелик: ария Ленского из оперы «Евгений Онегин», и все. Может, он и знал что-то еще, но то ли эта маленькая ванная с гудящей колонкой навевала «Куда, куда вы удалились», то ли процесс смешивания басмы с хной по традиции сопровождался именно этим Чайковским, то ли он просто жалел, что куда-то удалились весны его золотые дни и именно поэтому красился.

Голос его звучал тонко, даже приятно, шум воды тихонько аккомпанировал его музыкальному фырканию и вот, наконец, Игорьсереич выходил из ванной в какой-то невероятной чалме из чертежной кальки, которой прикрывал впитывающуюся краску. Каждую неделю в течение целого часа он ходил в этом восхитительном головном уборе и смахивал на брата Снежной королевы, как если бы он у нее был. В этот час Нина его практически любила. Она по возможности чаще путалась у него под ногами, тайком бросала восхищенные взгляды и представляла, как бы он выглядел, например, в серебряном расшитом камзоле с кружевным жабо, в коротеньких атласных штанишках, белых чулочках, в серебряных ботинках с огромными пряжками, ну и всякое остальное – плащ, перчатки, шпага. Ей где-то попался такой рисунок

красивого господина – то ли в сказке про Кота в сапогах, то ли в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, то ли еще где, но Нина тогда навсегда его запомнила. А мятые полосатые штаны и старая майка ИгорьсERGEИЧА совершенно не вязались ни с тем шикарным образом, ни с прекрасно-художественной чалмой на голове. Через час, когда помесь басмы с хной уже сделала свое черное дело, впитавшись не только в корни реденьких волос, но и в саму кожу, а может, даже в череп и в мысли, ИгорьсERGEИЧ опять надолго занимал ванную, и через тонехонькую дверку раздавалось снова:

Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?

Нина не очень понимала все эти странные вопросы, да и смысл арии в целом, но уже знала ее наизусть и часто напевала во дворе, качаясь на качелях. Куда-а-а, куда-а, – качалась она туда и обратно, – вы удали-и-лись, – и снова вперед и назад. Когда двор был пустой, Нина прибавляла звук. А однажды она получила дерзкий ответ на один из вопросов Ленского. Затянула, как водится, мечтательно мурлыкая и подражая отчиму, «куда, куда вы удалились...» – и вдруг услышала возмутительное:

– Пошли-и-и посрать и провалились! – это спел противный Васька, сосед из старого желтого домика со львами. Он задира́л всех, не только Нинку, характер был такой. А в тот раз неслышно подкрался сзади, прикидывая, какую бы сделать пакость, а тут Нинка как раз и запела.

Теперь стоял сзади и ржал, как наглый конь. Нина сделала тогда вид, что безумно обижена, смерила Ваську надменным взглядом и ушла. Но с тех самых пор, карауля ИгорьсERGEИЧА у ванной комнаты, она ждала миг, чтобы таинственным шепотом и обязательно так, чтобы никто не дай бог не услышал, дать ответ на первую музыкальную фразу его арии. И как шпион, стояла под дверью, победно и хитро улыбаясь.

С Васькой этим дворовым случались одни проблемы. Он был на два года младше Нины, но уже слишком борзый и на всех наезжающий. Он был сыном настоящей цирковой карлицы Лели, ровно в метр ростом, которая прижила от старого рыжего клоуна, еле выносила ребенка и чуть не умерла в преждевременных родах. И было почти невозможно представить, как смогли они оба выжить, мать и сын. Цирковое имя она носила звучное – Иоланта, но за кулисами все ее звали Лелей.

Леля была ассистентом дрессировщика и выступала в нелепом костюме с галунами. Она била хлыстом по арене, кричала своим птичьим голоском: «Бравушки, мои хорошие!» и смешно бегала за тиграми, переваливаясь, как утка. Трижды за ее мученическую жизнь на нее нападали хищники и нещадно рвали ее маленькое тельце, трижды хирурги его подлатывали, и она снова выбегала вперевалочку на арену.

А потом у нее случилась любовь с рыжим клоуном, который после представления снимал свой рыжий парик и красный нос и превращался в прекрасного пожилого принца и удивительного рассказчика. И вот под один из своих волшебных рассказов он и обрюхатил храбрую карлицу, а потом перевез ее жить к себе в квартиру и вскоре помер, оставив Лелю с Васькой единственными наследниками.

Леля была на удивление доброй, и непонятно было, как в таком крошечном организме умещалось такое огромное сердце. Да и Васька не был злым – просто он привык с детства защищать мать, поэтому и предвещал своей ершистой реакцией любые попытки ее оскорбить или осмеять. Везде ходил с мамочкой, именно так ее называя, боялся отпускать ее одну в люди

и не обращал внимания на насмешки сверстников. Лелю во дворе любили, а Ваську-волчонка немного побаивались, но все же уважали.

Они жили в прекрасной квартирке с балконом на втором этаже старинного дома. Балкон был самым любимым Лелиным местом. Никто никогда не знал, когда она на него выходила, – ее просто не было видно, ростом она не дотягивала до перил, но большую часть летнего времени проводила именно там. Иногда над перилами торжественно проплывала лейка и сама поливала цветы – только тогда двор и понимал, что Леля сейчас на балконе и держит лейку высоко над головой. Одна лишь Нина из своего окошка видела, когда Леля выходила на балкон, поскольку закрыт цветами-вьюнами он был только с двух сторон, а со стороны Нины цветы не росли. Нина любила смотреть, как Леля делает там свою нешуточную цирковую гимнастику, как кормит клоунского говорящего попугая Жарика, сидящего в клетке, как садится на детский стульчик и начинает что-то штопать Ваське или вязать. А когда Леля видела Нину, то обязательно что-нибудь спрашивала у нее своим ангельским голосочком: про отметки, про маму-папу, про Буратинку на окошке, про бабушку в деревне... Даже сырниками угощала, вкусные они у нее получались. Нина любила свою соседку и совершенно ее не стыдилась. Да и во дворе все уважали Лелю, вся жизнь которой состояла из малых, но очень значимых поступков.

Мама, а Нинка любила звать ее мама Варя, теперь абсолютно не боялась оставлять дочку дома: совсем взрослая уже, убеждала себя и ее, одиннадцать, пусть на хозяйстве будет. И снова зачастила с Игорььсергеичем то в гости, то в театр, то к кому-то на дачу на все выходные. А Нинка с удовольствием просиживала одна на своем уютном подоконнике с книжкой, следила за Лелей с Васькой, за тем, кто качается на качельках, за теми, кто выходит во двор и кто уходит, подглядывала, как целуются под навесом у дома Бабритина поздняя дочка Нелька с красавцем военным в шикарном форме, как Майя выставляет под окна коляску с копошащимся Егоркой, как Труда вывешивает под липой линялое белье – в общем, наблюдала жизнь. А потом, когда темнело уже настолько, что все вокруг проглатывалось темнотой и двор как бы переставал существовать, Нина шла с дозором по гулкой квартире и тщательно проверяла, хорошо ли заперта дверь, после чего мыла свою тарелку с вечно недоеденным ужином, чистила зубы, как наказывала мама, и, еще раз заглянув во все углы, не притаился ли там кто, спокойно шла спать, оставив все-таки свет в прихожей. На всякий случай.

Вот и сегодня она сделала все как положено, помылась-почистилась, пофыркала в ванной и пошла к себе в комнату, погасив для разнообразия свет при входе и оставив гореть только лампу в коридоре. Дверь оставила приоткрытой – все-таки в светлоте спокойнее. Потом плюхнулась с размаху к себе на кровать и стала радостно подпрыгивать на попе под звонкий пружинный скрежет, отчаянно помогая себе руками, чтобы взмыться как можно выше, прямо до потолка. Но до потолка не получалось: попа оказалась тяжелее, чем хотелось, и отрывалась от кровати с большой неохотой. Потом Нина сняла платье и хотела уже было надеть ночную рубашку, но вдруг о чем-то задумалась и подошла к шкафу. Там среди яркой маминой одежды торжественно и немного в сторонке висела совершенно новая коричневая школьная форма с белым, в оборках, фартуком. Старую форму отдали кому-то из соседей во дворе, хотя она давно уже была стыдно-протертая. Новый черный повседневный фартук грустно болтался на отдельной вешалке: первого сентября он в школу не пойдет. Нина тронула оборки, провела рукой по шоколадной ткани платья и вдруг, решившись на что-то важное, бережно сняла форму с вешалки. А почему бы не примерить ее еще раз? Платье купили месяц назад, и Нина испугалась, что могла сильно вырасти за это время, ей все это говорили, и первого сентября форма может просто не налезть. Нина покрутила ее перед собой, приподняла и набросила, внырнув, как в воду, потом поправила кружевной воротничок-стойку и завязала белый праздничный красавец-фартук с этими сказочными оборками. Закрыла шкаф, чтобы увидеть себя в зеркале

на дверце, которое всегда смотрело на нее с самого рождения, сколько она себя помнит. Форма вполне ладно сидела на ней, а стойка была дивно как хороша! Они с мамой долго выслеживали именно этот фасон: отложные воротнички ей совсем не нравились, выглядели простецки и слишком чопорно, как-то даже по-старушечьи, что ли. Нина с самого детства обожала рисовать принцесс и всегда почему-то делала им такие же воротнички, волшебные, кружевные, высокие, которые словно держали голову в гордом неприступном состоянии и не давали ей наклониться. Нина еще раз в восхищении взглянула на себя, но вспомнила про банты и метнулась к полке. «Ты так и будешь до десятого класса носить такие пышные банты?» – спросила ее на днях мама. «А почему нет? Это же очень нарядно! И потом, я же не в десятый класс хожу, а только в пятый!»

Нина, наконец, приладила их и снова застыла перед зеркалом. «Какая красивая! – подумала она. – Ну почему это не признать, это же не стыдно!»

Она и вправду была хороша: русокосая, тем более что мама с рождения еще ни разу ее не стригла, и за одиннадцать лет волнистые волосы выросли намного ниже спины. Нина даже не знала, какие у нее волосы на самом деле – сразу после ванны они почему-то выглядели прямыми и темными, но только раз в неделю после мытья, а все остальное время они были довольно светлые и волнистые. Волнистость эта усиливалась ежедневными косичками, которые расплетались только на ночь. Еще у Нины была удивительная, в маму, выкройка глаз – чуть раскосые, лучистые, но при этом светло-серые в голубизну. Эта необычная форма и цвет привлекали взгляд, и поначалу даже нельзя было понять, что именно привлекает в этой миленькой девочке помимо врожденной грации и хрупкости. И еще Нина все время улыбалась, даже родилась с улыбкой, словно обрадовалась, что наконец-то родилась, вспоминала мама, и с тех пор вообще редко хмурилась.

Нина покрутилась перед зеркалом, порадовалась своему отражению, несколько раз даже подпрыгнула – ей захотелось посмотреть, как вместе с ней подпрыгивают в волосах бантики. Наконец, раскрасневшись, остановилась, сняла с себя форму и, аккуратно расправив, снова повесила в шкаф. Пора уже было спать. Нина села на кровать, вынула из-под подушки аккуратно сложенную ночную рубашку, надела и сладко потянулась, откинув одеяло.

В этот миг в окошко кто-то тихо, почти беззвучно заскребся. Звук был почти неслышный, он скорее чувствовался, чем слышался, почти не нарушая привычную тишину. Нина вздрогнула, вскинула бровь и, затрепетав ресницами, посмотрела в сторону этого мышиного звука. Занавески были задернуты не слишком плотно, кусок уличной черноты все-таки проглядывал, и девочке почудилось, что кто-то там есть и смотрит на нее в щелку сквозь не до конца задернутые шторы. Она безумно вдруг испугалась, ее насквозь прошел ужас, но не потому, что кто-то стоял у ее окна, а что этот кто-то видел ее почти раздетой. И вообще она такого не ожидала: раньше никто и никогда не подходил к решетке так близко, для этого надо было специально шагнуть на крышу котельной, хоть и совсем невысоко от земли, но все же подняться.

Нина тихонько встала и на цыпочках подошла к окну, долго не решаясь отодвинуть занавеску. Ей даже не хотелось до нее дотрагиваться, словно это была гадкая и вонючая половая тряпка, которую вдруг повесили на всеобщее обозрение. Ей стало страшно: вдруг, стоит только до нее дотронуться, она приоткроет того, кто прячется за окном?

Снова кто-то заскребся, уже немного настойчивей чем раньше, словно требуя впустить. Нина явно различила – это был человек. Такой звук могли издавать только барабаниющие пальцы, и девочка была в шаге от этого звука, отделенная только занавеской в зеленую полоску. Она, зажмурившись, стала мять тяжелый край ткани, чтобы хоть чуть привыкнуть к вдруг нахлынувшему животному страху, и безысходно закружилась на месте, заматываясь в занавеску, как в кокон. Она кружилась, обнажая комнату и подставляя ее под чей-то жадный взгляд, но не понимая этого. А тот, кто стоял за окном, с усмешкой следил, как задвигалась портьера,

затрепетала, словно в нее, как в ловушку, попался маленький пугливый зверек, который еще не знает, что вскоре ждет его, но совершенно точно догадывается об этом своим звериным чутьем. В занавеске оказалось темно и пыльно, как в деревенском бабушкином чулане, даже еще темней. Нина приоткрыла глаза, потом крутанулась вокруг себя еще разок и занавес, как в театре, целиком открыл комнату.

– Выходи, малышка, выходи, я знаю, где ты!

Приглушенный голос незнакомца хорошо слышался в открытую настежь форточку, и Нине показалось, что он раздался возле самого уха, словно тот, кто говорил, прятался в занавеске рядом с ней. Нина вздрогнула от неожиданности.

– Ну что ты ведешь себя как маленькая, выходи-и-и-и, не надо меня бояться...

Голос его звучал убедительно и спокойно, совершенно безопасно – так обычно разговаривают врачи в детских больницах, чтобы показать, что укол – это совершенно не больно, а просто необходимо. Полосатая ткань надежно, как казалось Нине, защищала ее от того, что было ей в данный момент не очень понятно и вызывало опасение. Она подняла голову вверх и посмотрела из своего колодца на кольца, которые крепко держали ее кокон. Хотя... С другой стороны, ей было очень любопытно, кто же стоит у окошка, как он выглядит и чего ему надо. Девчонкина кровь вдруг взбудоражилась от мужского шепота, пошла волнами, неосознанно загорячала и пересилила ребячий пугливый разум. Нина подумала еще мгновение, отдалась инстинктам, дернулась и стала медленно разворачиваться. Она же не сможет стоять тут, спеленутая, целую вечность! Кокон становился все менее тугим, сковывал ее все слабее и слабее, пока не освободил девчонку из своих объятий. Занавеска колыхнулась, расправилась и выплюнула раскрасневшуюся Нину, оставив беззащитно стоять посреди комнатенки.

За решеткой, прямо на земле у старого сорняка, сидел мужчина, прислонившись к стене, и улыбался, глядя на эти смешные девичьи маневры. Просто улыбался, чуть склонив, как странная ночная птица, большую голову набок. В нем не было никакой угрозы, совсем никакой. «Какая может быть опасность в человеке, который так добро улыбается?» – подумала девочка. Потом улыбка его вдруг ушла, он вроде как с усилием поднял в секунду потяжелевшие веки и стал жадно высверливать девочку черными серьезными глазами-буравчиками. Ноздри его затрепетали, руки замяли край выпущенной сверху брюк рубахи. Сначала он посмотрел прямо в ее ланьи глаза, отчего Нине стало очень неловко, просто необъяснимо неловко, потом на рассыпанные по узким плечикам волнистые локоны, на все еще пристроенные в волосах бантики, на тоненькую цыплячью шейку с прозрачной молочной кожей, через которую просвечивала голубая кровь. Взгляд заскользил вниз по веселой ситцевой рубашечке с мелкими детскими кружевами и смешными зайчиками, а потом остановился на худых девчачьих ножках с изящно оформленной породистой щиколоткой.

– Какая ты хорошенькая!

Голос дяди был тихий и чуть хриплый, словно у него вдруг заболело горло.

– Не бойся меня. Как тебя зовут?

– Нина.

Она испугалась, конечно, но виду не подала, она же почти взрослая! Его улыбка была похожа на Нинину – все тридцать два зуба были в пределах видимости, и Нина сразу заулыбалась в ответ.

– А как тебе идет школьная форма, Ниночка! А какие бантики – глаз не отвести!

Дядя тихо говорил, и Нине нравилось то, что он говорил, да и голос его нравился.

– А вы не вор? – вдруг спросила Нина, вспомнив, почему папа поставил решетку.

– Нет, я специалист, – просто ответил дядя. – Хожу и проверяю, готовы ли детки к школе. Ты готова. Подойди ближе, я поправлю тебе бантик. Ты не забудешь снять их на ночь? А то сомнуся.

Нина послушно подошла. Дядя уже не казался ей странным, прическа необычной, а глаза злыми. Он протянул руку в окно, поправил бантик и тыльной стороной ладони погладил девочку по щеке.

– Иди спать, малышка, мы еще увидимся...

И еще раз посмотрел на нее, словно хотел запомнить для чего-то очень важного. Рассматривал он ее недолго, казалось, всего какую-то минуту, но цепко и внимательно, будто примериваясь к прыжку, а потом, еще раз улыбнувшись, вдруг сделал резкий шаг вбок, бесшумно соскочил с приступки и растворился в темном мертвом дворе.

Нина в общем не очень-то и испугалась, просто не ожидала увидеть чужого так близко, лицом к лицу. Она никогда не встречала его раньше, он точно нигде не попадался ей на глаза – ни на ее родной улице, ни в окрестных магазинах, ни тем более в их дворе, уж она бы точно запомнила. Дядька был немного странным, хотя таких много ходит по городу. Единственное, что очень его среди всех выделяло – черные, словно лакированные волосы и прямой, как стрела, пробор, который делил его голову на две равные части, будто кто-то что-то разметил, но еще не выполнил задуманное. Волосы были прямые, не по моде длинные, чуть достающие до плеч, какие-то неестественные и слишком уж сияющие. Чуть темные внимательные глаза, чуть длинноватый с тонко очерченными крыльями нос и чуть узковатые губы – в его лице было слишком много этого «чуть», какая-то недоделанность, неопределенность и недосказанность, какая-то ненастоящесть.

Нина простояла еще некоторое время у раскрытого окна, немного обомлевшая и застывшая от неожиданной встречи и разговора, потом закрыла форточку и резко, одним махом, задернула штору. Но вместо того чтобы лечь уже, наконец, в постель, она пошла на кухню подглядеть в окно, нет ли кого чужого у дома. Так, снова на всякий случай. Она включила свет, со светом ведь было намного храбрее, и выглянула в окошко. Но ничего не увидела, сплошная чернота, даже качели исчезли. Черная непроглядная вата, а не двор.

Зато из беседки маленькую девочку в уютной ночной рубашке с зайчиками было прекрасно видно.

Нина заснула в тот раз совершенно спокойно, ничуть не испугавшись, а скорее изумившись. Она тихонько убаюкивала себя, крепко зажмурив глаза и думая о школе, о Пашке, соседе по парте, который всегда подсказывает ей на математике, о физкультуре, которую она не любит, потому что там надо бегать по кругу и перетягивать дурацкий канат, обо всем простом и каждодневном. Потом все-таки снова немного подумала об этом дяде, но совсем немного – видимо, этот человек решил от кого-то спрятаться, могло же такое быть? Или что-то спрятать. Хотя вряд ли там, где все на виду. На самом деле она совершенно точно знала, зачем он залез на эту приступку и почему зашел в ее тупик. Он решил пописать. И не он первый, кстати. Около ее окна вечно пахло мочой, и было впечатление, что все дядьки с улицы ходили писать именно к ней под окна. Днем это было, конечно, невозможно, соседи не позволили бы, застыдили и прогнали бы, а вот ночью... Кто ж мог в это время уследить? А пройти в арку с улицы и сразу налево в тупичок – самое оно, если приспичит. Но такие никогда не шумели, а тихо журча, оставляли свою кобелиную метку и, сделав свое мокрое дело, скоренько ныряли обратно в арку, стыдливо оглядываясь и на ходу застегивая ширинку. Может, сорняк так сильно и рос благодаря удобрениям, подумала Нина. Вон как вымахал за лето: конец августа, и он уже выше ее ростом! Да, скорее всего он и питается одной мужской мочевиной, ее же полно в моче, не зря же она так называется. Она крутилась и крутилась в постели, пока наконец не заснула, не вспомнив даже, что так сильно ее вначале напугало.

Об этом дяде Нина ничего маме так и не сказала. Зачем? Во-первых, он не сделал ей ничего плохого, а только грустно улыбнулся и поправил бантик. Во-вторых, если рассказать

маме, то она, как всегда, назовет ее балаболкой и выдумщицей, скажет, что она совсем еще маленькая, а уже пора взрослеть, пятый класс все-таки, и в результате просто не поверит, подумала Нина, а то еще и отругает. Поэтому решила просто об этом забыть, хотя, конечно, здорово было бы выдать кому-нибудь тайну о чужаке под окнами. Ну не Леле же, не Бабрите, не Ваське и тем более не Тимофею-механику из соседнего дома, уж ему-то точно никак открыться было нельзя. Устроил бы засаду, ночь бы не спал, караулил бы, а то и Нининой маме бы сказал.

Механиком, вернее, киномехаником, он был не всегда. Во время войны служил разведчиком, получил ордена и медали, но как-то раз подорвался на mine и хоть и выжил, но сильно покалечился. Но друзья-разведчики притащили его в госпиталь, там его зашили-подлечили и списали – в смысле, объяснили, что снова служить он не сможет, что все равно останется калеккой. Лицо было обожжено, одна рука поднималась с трудом, из спины вынули много осколков, два еще осталось около позвоночника, да и левая нога уже не сгибалась – коленка была совсем раздроблена, хоть срослась кое-как, чему врачи вообще удивились. Но за двадцать-то лет, прошедших с Великой Отечественной, Тимофей, благодаря неумной работе и упражнениям, стал почти как все, со стороны трудно было даже заметить, что с ним что-то не так. Все его во дворе очень уважали и за военные заслуги, и за удивительную душевность, которой он окутывал любого, кто к нему обращался. Мимо людей никогда не проходил, всегда во все вникал, и не из простого любопытства, а чтобы понять, разобраться и помочь. Нина выделяла его из всех и не раз к нему обращалась.

Однажды голубиный птенец свалился к ней с небес прямо под ее окошко и затих. Вроде живой, но весь какой-то обмякший, лапки поджаты, лежит как дохляшка, встать не в силах. Только на шейке перья топорщатся и двигаются туда-сюда. Нина по их движению и поняла, что жива еще пташка. То ли кошка гнездо разворошила на крыше, то ли летать он решил начать не вполне удачно, неизвестно, но оказался прямо у гигантского Нинкиного сорняка. Нинка поохала для начала, покудахтала, держа ребенка-голубенка в ладошках, но как увидела, что он глазенки своими серыми пленочками закрыл и окончательно весь застыл, то помчалась сразу к дяде Тиме, надо же было животину спасти! А к кому же еще бежать? Мама как комок перьевой увидела у Нины в руках, сразу запричитала, унеси это из квартиры, кричит, от этого одна зараза, голуби разносчики инфекций, чтоб я его здесь не видела... Нина ничего другого и не ожидала. Мама живность не любила, ни кошек, ни собак не разрешала заводить, даже ежика не позволила в дом внести, которого Нина привезла однажды с дачи. Только ИгорьсERGEИЧА завела. Но какой от него был прок? Может, для мамы и был, но для Нины? Хотя она ждала, что вот-вот мама разрешит, еще немного, еще чуточку и позволит кого-нибудь завести после того, как впустила ИгорьсERGEИЧА со своими лыжами к ним в дом. Но нет, ничего такого не произошло.

Нина очень страдала без друзей. Часто представляла, как бы она гуляла с собачкой по Патриаршим или как бы играла с котеночком, ну пусть хоть мышка жила бы у нее в клетке. Хотя, конечно, мама и мышка... Ну, в общем, побежала она тогда с находкой к Тимофею – он, к счастью, дома был. Осмотрел детеныша, покачал головой: контуженный, говорит, и сильно – прям как я в свое время. Оставь его в покое, травки сухой подложи – только не свежей, свежая холодная, все тепло из голубенка вынет, и тот помрет сразу. Так и сделали. А как птенец чуть встрепенулся, заморгал и с удивлением стал смотреть на Тимофея, тот быстро его схватил, положил вместе с сеном в круглую коробку из-под конфет и потащил на крышу к голубям-родителям.

– Может, оставим? – заныла Нина. – Дядь Тим, домашний голубь будет. Я из него почтового сделаю, письма будет носить... Их же можно научить? Раньше же такое было? Ну когда-то вместо почты использовали же голубей, ну дядь Тим...

– Нинок, не выкормим мы его, никак не выкормим, его голубка должна кормить своим молочком, – стал объяснять Тимофей.

– Ой, а мы такого не проходили, – удивилась Нина. – У птиц разве бывает молоко?

– Ну так называется, у голубки оно специальное, из зоба, – сказал Тимофей. – Где мы его возьмем? Помрет голубенок с нами, пусть к мамке идет.

Отнес его тогда на крышу, примостил у трубы, загородил чем попало со всех сторон, чтоб еще раз не свалился, и стали они с Нинкой следить снизу, чего дальше будет. Недолго пождали: прилетела мамка, зардовалась детенышу, затрепетала крыльями, как и всякая родительница, и примостила рядом кормить свое чадо.

В общем, хороший Тимофей был, положительный, на него всегда можно было рассчитывать. Но ему-то точно нельзя было сказать про дядьку, поднял бы всех на уши, а попало бы, как всегда, Нине. Поэтому через день-два Нина и сама забыла о ночном визитере, вернее, «писальщике», как она его для себя назвала. И как только забыла, он появился снова.

Он как угадал, когда прийти.

Мамы с ИгорьсERGEИчем не было дома, они ушли на очередную премьеру, а Нина делала уроки. Был уже разгар сентября, но вполне тепло, прело и сухо. Бабье лето как-то по-бабьи заправляло во дворе: обдувало теплым ветром сушащееся белье, прибивало по углам пыль, иногда вдруг вздорно поднимая ее в воздух, загадочно шептало листьями старой чудом сохранившейся липы посередине двора. Был уже вечер, не поздний, но темнеющий, окошки в дворовых домах уютно горели живым желтым светом, многие были настезь распахнуты и, как всегда, слышалась негромкая и печальная музыка из радио, которое тетя Труда ставила на подоконник для оживления дворовой атмосферы. Ей казалось, что так правильней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.